



ЖИЗНЬ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ СЛОЖНО НЕ СТАТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ

Стас Веречук

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Стас Веречук

ЖИЗНЬ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ СЛОЖНО НЕ СТАТЬ ПСИХОМТЕРАПЕВТОМ

<https://litres.ru/74209497>

SelfPub; 2026

Аннотация

**ЖИЗНЬ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ СЛОЖНО НЕ СТАТЬ
ПСИХОМТЕРАПЕВТОМ**

Реальные истории из детства, оставившие неизгладимое.

60 честных историй из детства психотерапевта Стаса Веречука — без осуждения, без обвинений, но и без прикрас. Это не сведение счётов с родителями, а попытка взглянуть в то, каково быть чувствительным ребёнком в той семье, которую многие из нас называют «нормальной» семье — как плохо и одиноко в ней может быть. И как через свои желания и смелость ребенок ищет способы выжить.

Автор рассказывает о своём детстве так, как будто заново его проживает: с той же болью, что была, и с той иронией, что появилась спустя годы. Каждая история — маленький ключ, который может открыть что-то в вашей собственной памяти.

Это книга о родителях и детях, о ранах, которые формируют нас, и о принятии, которое приходит только после того, как мы разрешаем себе всё это прожить и оплакать.

Книга посвящается родителям автора — Виктории и Валерию.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.	5
1	8
2	12
3	16
4	25
5	28
6	32
7	35
8	41
9	46
10	48
11	51
12	61
Конец ознакомительного фрагмента.	66

ЖИЗНЬ, ПОСЛЕ КОТОРОЙ СЛОЖНО НЕ СТАТЬ ПСИХОМТЕРАПЕВТОМ ПРЕДИСЛОВИЕ.

Думаю, об этом важно сказать сразу.

У меня нет желания обличать или обвинять моих родителей, или же предъявлять им счёт. Я люблю их и искренне благодарен за многое, что они для меня сделали. И я уж точно уверен в том, что они сделали для меня все, что было в их силах.

У меня нет цели выговориться, тем самым сделав свою боль меньше. Нет, прошел уже не один год с момента, как я все это прожил. С тех пор эти ситуации не вызывают во мне боли, только теплую улыбку (порой грустную, а порой – веселую или ироничную) о них самих и об их участниках.

Я также знаю наверняка, что в отношениях родителей и детей значение имеют не только действия или бездействия родителей, но и настройки самого ребенка, причем, явно не меньше. И это можно хорошо увидеть на примере двух моих клиентов-мужчин: один из них обижается на своего папу, который не замечал его и не поддерживал, в то время как второй искренне считает своего папу, который лупил его до восемнадцати лет, лучшим в мире.

Моя цель в этой книге - показать, как одиноко и невыносимо может быть чувствительному ребенку в семье, которую большинство из нас называют «нормальной», как сложно может быть ребенку там, где контакт с ним не выстроен, а поддержка и любовь в том виде, который ему очень важен и нужен, отсутствуют.

Ещё одна моя задача — записать светлые, живые эпизоды моего детства. Те самые, что навсегда впечатаны в мою личность — не блеклой строкой, а крупным, насыщенным шрифтом памяти. Зафиксировать те истории, которые для меня по-настоящему дороги и которые до сих пор звучат во мне. Которые я искренне считаю очень прикольными, живыми и знаковыми. Их атмосфера не просто осталась в моей памяти — она во многом сформировала мой вкус к жизни.

И третья цель.

Мне хочется, чтобы, читая мои истории, вы прикоснулись к своим, и вам стало понятнее. К историям, которых у вас, наверняка, множество. Которые оставили на вас след. Которые в какой-то момент дали вам жизнь, а в какой-то – ее забрали. Особенно это касается тех, кто считает, что он рос в «нормальной» семье, и все у него было «в порядке».

Благодарен каждому, кто прикоснется к этой книге, друзья.

Для меня это очень ценно.

Стас Веречук,
Психотерапевт
28.02.2026

1

Самая, пожалуй, ранняя история обо мне, которую я когда-либо слышал от мамы, была такой.

Когда я, Стас Веречук, психотерапевт и просто хороший (а местами – и не очень) человек, пребывал в самом своем нежном возрасте и было мне всего пару месяцев от роду, моей маме вдруг понадобилось куда-то в город по делам, и она решила на часок оставить меня на попечение моего папы, которому в то же самое время по делам в город было не нужно.

Была зима, я был укутан в пеленки по самой высокой моде (*haute couture* 1978), и возлежал в высокой совковой коляске с большими колесами, которая, видимо, заменяла мне кроватку. Что, собственно, было удобно – коляска была лежащая, пружинила неплохо, и спал я в ней, как убитый. К тому же, это точно позволяло нам сэкономить, что было очень кстати (денег у нас было не много). Во рту у меня была соска, на голове – застиранная шапочка грязновато-голубоватого цвета, настроение было ровным и умиротворенным, потому что, конечно, я был вкусно накормлен и пребывал на дежурстве на базе космических кораблей в районе Альдебарана.

Папа вряд ли был очень рад перспективе нашего сближения, но мамины дела сами себя сделать в тот день не могли.

Настал почти полдень.

Мама оделась, обулась, постучала каблуками по деревянному полу старого бабушкиного дома, и с надеждой посмотрела на папу. Папа собрался и взглядом дал маме понять, что даже под охраной американского спецназа мне надежней не будет. Бросив виноватый взгляд на своего сына, со словами: «Я через час буду», мама вздохнула, перекрестилась и вышла в морозный краснодонский день луганской области.

Зимы в те годы у нас были снежные, жили мы в частном доме на краю города, и до центра топать было неблизко. План у мамы был прост: она надеялась побыстрее добежать до остановки у школы, а там, втиснувшись в проходящий мимо автобус, ускориться благодаря машинной тяге, добавив к одной своей человеческой силе еще порядка 150 лошадиных.

Она оставляла меня в первый раз.

Сердце стучало, как колокол местной церкви.

Мама вернулась раньше, чем через час. Очень переживала и дела не сделала.

Но папе хватило и этого времени.

Еще с улицы она услышала какие-то странные грохочущие звуки, смахивающие на выступление рок-бэнда, вокалист которого скримил в лучших традициях хэви-метала.

Разобрать, что происходит, с улицы было невозможно, тереять время было нельзя, поэтому мама с силой толкнула дверь и вошла, не разуваясь. Снежок на ее коричневых сапожках сразу почувствовал тепло и грязноватой водичкой заструился на пол, добавляя маме работы (понятно, не мужское ведь это дело). Но маме в тот момент было не до гендерных игр, гораздо важнее было понять, what the fuck.

Вокалистом, в общем, был я.

Я почему-то лежал на полу и, захлебываясь, вопил, как Оззи Осборн вперемешку с Энгусом Янгом в лучшие годы.

Пленки все размотались, и я весь был в говне.

Сколько это продолжалось, сказать было сложно. Разве что мой охрипший голос, радиус разброса говна и степень моего загрязнения могли помочь эксперту сформировать кое-какие косвенные подозрения.

Папа был на бэк-вокале. Он сидел рядом на стуле, и, на-

виснув надо мной, как коршун, напористо наваливал мне на гитаре, сопровождая все это академическим пением.

Надо сказать, что у папы был неплохой голос. И, вероятно, в его логике, именно в таких обстоятельствах мы могли сблизиться с ним максимально, а я мог получить подтверждение, что меня любят и принимают любым. Кроме этого, видимо, именно в этих обстоятельствах я должен был получить от папы пример того, как взрослые решают проблемы, и захотеть стать на него похожим.

Я не знаю, что там было дальше.
Точнее, знаю.

Я не получил подтверждения.

А музыка навсегда вошла в мою жизнь. Вперемешку с говном.

P.S. Но Оззи, кстати, я не люблю. Как, впрочем, и Энгуса Янга.

2

Когда мне было полтора года, я заболел.

Я, конечно, болел и до этого. Но в этот раз я заболел чем-то таким, что сделало мое нахождение дома совсем невозможным. Выяснилось это тогда, когда, отстояв огромную сопливо-кашляющую очередь в детской поликлинике, мы наконец попали к нашему лечащему врачу. Звали ее Клара Васильевна. Когда я чуть подрос, я начал про себя называть ее Клара Коралловна. В честь поговорки.

Это не входило в мамины планы. И уж тем более, не входило в мои.

Лежать в больнице?! Ребята, побойтесь Бога. У меня дома собака, которая старше меня всего на 2 месяца. И вообще, я там все знаю.

Но это было еще куда ни шло.

Гораздо хуже стало, когда оказалось, что в больницу положат только меня, а маму - нет. Не говоря уже о папе.

Мне было полтора года.

Я не знаю, какие диалоги были у мамы с Кларой Коралловной по этому поводу. И были ли они вообще.

Но я знаю, что согласно советской педиатрической доктрине, дети (даже самые маленькие) гораздо лучше адаптируются к больничному режиму, если они находятся под пристальным наблюдением врачей, а не родителей.

Я также знаю, что оставление малыша в детском отделении без мамы должно было помочь ему сформировать стрессоустойчивость и подготовить его к коллективной жизни, что безусловно создаст прекрасный фундамент для светлого будущего этого маленького члена этого большого социалистического общества.

И я уверен на 100%, что «закалывать» ребенка и воспитывать в нем самостоятельность важно с как можно более раннего возраста, иначе хер мы вам тут коммунизм построим с такими сплунтями.

В общем, меня оставили.

Прощаясь, мама случайно увидела свою знакомую, которая лежала в этом же отделении (не знаю, как это было воз-

можно, но это было). Слезно попросив ее присмотреть за мной, мама с тяжелым камнем на сердце отправилась домой. Сложно сказать, заменил ли ей этот камень меня, но то, что он меньше орал – это был факт. Хотя, кто его знает...

Уход мамы стал точкой отсчета.

Я один. Я никому не нужен.

Вряд ли можно придумать для малыша более жестокое избиение, чем каждый вечер в течение двух недель подряд быть брошенным своей мамой. Особенно для малыша гиперчувствительного.

Днем мама приходила, а вечером она уходила снова.

Не могу себе даже представить, что происходило в сердце этого маленького щекастого человека, который одной рукой придерживал соску, а второй – держался за край халата доброй и совсем чужой тети, которую попросили за ним присмотреть, бегая хвостиком за ней по всему отделению (меня так там и прозвали - «Хвостик»), но сердце мое сейчас наполняется безграничным состраданием и сочувствием к этому маленькому, беззащитному и одинокому Хвостику.

Конечно, ему говорили важные слова, смысла которых он

не понимал. При этом он, вне всякого сомнения, прекрасно понимал действия. И неосознанно делал свои важные выводы, определившие его жизнь.

Я не помню этой истории, все мои воспоминания начинаются примерно с пятилетнего возраста. Узнал я об этом только около года назад, изучая свое детство, в разговоре с мамой. Мама рассказала, как сильно она переживала и не спала ночами, но сделать ничего не могла. Я ее понимаю. Сейчас уже понимаю. Всем сердцем.

Не знаю, насколько сильно отразилось это медицинское происшествие на моей личности, но то, насколько я зависим и насколько глубоки мои раны, может быть косвенным подтверждением разумности советской педиатрической доктрины.

Слава, бл*дь, КПСС.

Лето. Мне пять.

Офигезный возраст.

Мое тело работает безотказно. Энергия 100+. Я достаточно небольшого размера, что позволяет не убиться насмерть в случае экстренного непредвиденного падения. Интерес к жизни и к внешнему миру 110+. Коленки содраны постоянно. Отрывать куски запекшейся крови с еще незажившей коленки – удовольствие особенное. Больно, но очень сладко. И совсем невозможно остановиться. «Стасик, ну что ты делаешь?! Шрамы останутся». Да ладно, какие там шрамы...

Я уже могу выходить за пределы двора. Там уже есть друзья. Но об этом чуть позже. Ведь даже в пределах двора (шесть соток землевладений, когда-то полученных моей бабушкой на строительство дома для проживания большой и счастливой семьи) – это огромный и безумный, безумный (и еще пару раз безумный) мир.

Собака.

Туалет на улице. Развлечение не для слабонервных. Но сейчас лето, и это даже в кайф.

Жара так приятно плющит.

Летний душ. Вода нагревается солнцем в огромной бочке на крыше. Не вытираясь, выхожу из душа мокрым и сохну на воздухе. Солнце лично сушит на мне каждую капельку.

Куст крыжовника. Мммм. И прям возле туалета. Лицо сводит судорогой, ведь зеленый еще. Да пофиг.

Смородина – чуть дальше. Красная – с кислинкой, черная – чуть сладковатая. Нравится красная, засовываю в рот всю плодоножку, на которой висит целая куча счастья глубоко-рубинового цвета, и стараюсь вытянуть ее изо рта так, чтобы ягодки остались внутри, а она – нет. Не получается, она рвется и остается во рту вместе со счастьем. Ем все вместе, так тоже неплохо, вкус зеленой палки даже добавляет изюма.

За гаражом – малина. Я ее не люблю, в ней какие-то зерна, которые потом надо полдня из зубов выковыривать, да и вкус какой-то - ни рыба ни мясо.

Можно ходить в трусах. Как круто, что у нас свой дом. На

этажах так совсем не походишь.

Я худой, местная еда мне не нравится. Все эти борщи и каши. Или еще жестче – суп, в котором плавают варенный лук или (не дай Бог) куриная шкурка. Оххх, меня щас стошнит. Колбаса – норм, пойдет. Но только не та, в которой куски жира. Я их выковыриваю и прячу в ладошке, потому что выковыривать нельзя.

Зато все ягоды – мои. Яблоки жду не дождусь. 3 разных сорта. Вся улица в абрикосах. Завидую тем, у кого дома черешни.

Зато у меня есть вишни. Ну... не совсем у меня, конечно. Они растут во дворе у соседей, прямо с обратной стороны нашего дома, на углу. Зато к нам – свисают ветки. Это очень удобно – дерево соседское, а вкуснящие вишни - мои. Их можно рвать через дырки в заборе и закидывать себе прямо в рот. Проблема одна – не достаю высоко. И на забор не залезть.

Смотрю по сторонам – что бы такое подставить под ноги? Как назло, ничего подходящего. Зато дальше за домом – вдруг вижу кое-что поинтересней.

Бычок от сигареты. Огромный. Как будто кто-то закурил

сигарету, испугался (ведь курить - плохо), сразу же ее затушил и убежал.

Превращаюсь в агента «Ноль Ноль Икс», за которым возможна слежка. Озираясь, крадусь к бычку. Вообще не палюсь. Молниеносным движением беру его и делаю вид, что это наклонялся не я, и не за бычком. Делаю вид, что это не он торчит у меня из руки. И что это не мои пальцы его держат.

Спрятать некуда, я же в трусах. В трусы настоящие агенты никогда и ничего не прячут. Это неприлично и негигиенично.

Блин, что же делать...

Погоди, а зачем тебе вообще бычок?

Я подвисаю на мгновение.

Но лишь на мгновение.

Как зачем...? Чтобы курить!

Но... курить же плохо... Ну да, плохо... Но папа же курит? Курит... А мамину фотку с сигаретой помнишь? Она еще из такой модной длинной палки торчала... Сигарета, не мама... А мама на фотке была очень довольная. Ну еще бы. Это ж так круто... Курить!

План рождается в доли секунды. Мне не нужно прятать бычок в трусы, выходить и с ним палиться. Мне нужно оставить его здесь на деревяшке, пойти взять в доме спички, вернуться и курить прямо тут. В этом идеальном месте.

Спички находятся быстро – десяток коробков разбросаны по всему дому. Беру один. Не боюсь, что заметят, я ведь и раньше че-то там палил во дворе. Но сейчас все равно есть какой-то стрем – мама так смотрит странно... Неужели знает, что я курить собрался? Да не, ну откуда она может знать... У нас же нет окон с той стороны дома. Обуваю тапки.

А вдруг заметят все-таки?

Страшно...

Но... я уже не могу остановиться.

Глуповато улыбаясь, выхожу из дома.

Я снова агент. Вприпрыжку скрываюсь за углом дома. Бычок на месте. Фух... Сердце начинает трепыхаться, как воробей в коробке из-под зимних сапог.

Вот ща я вам всем покажу!

Сразу же пугаюсь этой своей прыти. Кто покажет? Ты?! Да ты же слабак!

Блин, меня сейчас спалят.

Но пальцы уже достают спичку. Кто слабак? Я?!

Сердце уже стучит в горле. Спичка не зажигается. Сейчас точно спалят... Папы вроде нет дома... Или есть?! Меня прошибает пот. Вторая не зажигается... Чёрт... Точно... Папа стоит за углом и только и ждет, когда я затанусь... Ноги подкашиваются от этой мысли. Глаза сами хотят смотреть на угол. Но я же тогда не увижу спичку...

Зажглась!

Поворачиваюсь в сторону угла. Папы не видно. Но он... он точно там... Я знаю. Это же... Точно, это «Угол страха». Руки дрожат, как у алкоголика дяди Коли напротив.

Блин, как курить-то?

Да быстрее ты, сейчас погаснет!

Во мне живут разные голоса.

И они все говорят одновременно.

Дрожащими руками хватаю бычок.

Еще пару секунд, и я наконец стану крутым! Как папа и мама. Вместе взятые. Как взрослый.

Бычок во рту.

Еще секунда. Еще...

Вот она...

Крутизна близко невыносимо. Уже глаза щиплет.

Так а чё делать-то...?!

Да быстрее ты!!

Подношу спичку к лицу, огонек уже возле пальцев. Так быстро горит...

Да ты слабак!!

Неуклюже ловлю огоньком край сигареты, пальцы уже горят всюю. Курицей пахнет палёной.

Я не слабак... Говорю и сам себе не верю.

Не слабак, ЯСНО?!

Что есть мочи втягиваю в себя воздух, сцепив губы плотным кольцом...

Мир меркнет перед глазами. Слезы застилают глаза. Кидаю бычок через забор, но он предательски падает мне на голову. Отпрыгиваю, машу руками. Бычок падает мне под ноги. Папы за «Углом страха» нет, фуххх, зато на кашель старого туберкулезника всюю спешит мама. «Стасик, что ты там делаешь? Ты где?!» Меня тошнит, ща блевану зеленым крыжовником и вишнями, я же ничего не ел больше. Нако-

нец с третьей попытки подбираю бычок, он дымит вовсю. Красноватый огонек смотрит осуждающе, как глаз Терминатора. Еще секунда, и он заговорит со мной. Вытираю слезы. Успеваю почувствовать, что руки пахнут, как у старого деда.

«Стасик, ты меня слышишь?!»

Сердце сейчас выкатится из горла шаром для боулинга и сделает из мамы страйк.

Быстро тушу бычок о забор и все-таки перекидываю его на ту сторону. «Это Дядя Витя курил! Это не я!», так и хочется крикнуть в сторону угла. Легенда, конечно, так себе, поэтому я ее только прокручиваю в голове, а сам – изо всех ног несусь в противоположную сторону и успеваю скрыться за другим углом как раз в тот момент, когда мама показывается из-за «Угла страха».

Начинает гавкать собака. Вздрагиваю от неожиданности. Она тоже за маму, блин. Еще один угол. И со всех ног в огород! Малина, конечно, ягода хреновая, но я знаю, для чего она хороша.

Сижу. Вижу маму. Слышу маму. Малина, сучка, царапается.

С трудом сдерживаю туберкулез.

Во рту как будто мыши насрали. Все. Мыши. Города. Краснодар. Луганской. Области. Мама возвращается в дом.

Смотрю ей вслед и не понимаю, с чего начать – с туберкулеза или...

С облегчением блюю вишнями. Я забыл, что крыжовник сегодня не ел.

Ааа, точно, еще ж ел гречку с сахаром.

Красный с коричневым неплохо смотрятся.

Это был единственный раз в моей жизни, когда я курил сигарету. Сейчас мне 47.

Мне три с половиной.

Мама возвращается домой со свертком. Сверток молчит. Он спит. Это мой брат.

Сквозь пелену памяти проступает комната мамы, и в ней на большом раскладном диване лежит маленький человечек.

Помню слова «сёся» и «тяпа».

Без соски и маленькой тряпочки человечек орет. С сёсей и тяпой мгновенно успокаивается.

Я рядом, помогаю поднимать постоянно падающую из рук тряпочку. Разговариваю с ним. Сюсюкаю. Делаю вид. Я его не люблю. Я хочу, чтобы мама меня заметила. Больше мне ничего не нужно.

И мама иногда замечает.

Я все делаю правильно.

Мы не общались никогда. Только дрались по детству. А

потом, как только разъехались, перестали общаться совсем.

Я очень боялся, что так же случится у моих малых, и интуитивно делал все, чтобы этого не произошло. Пронесло. Смотрю сейчас, как они общаются, как вместе в игры компьютерные рубятся, как дарят друг другу подарки на праздники, как делятся друг с другом, как смеются над одними и теми же приколами, и в сердце загорается огонек.

А меня так не пронесло.

Когда в семье появляется второй ребенок, в этот же период первый получает травму, которая определяет всю его дальнейшую жизнь. Я только недавно об этом узнал.

Мы действительно очень разные. У нас нет и не было никогда ни единого общего интереса, ни единой точки соприкосновения.

Но даже при всем этом – ведь есть он как человек, и есть как человек - я. И если мы друг другу максимально родные по крови, то, наверное, можно же в этом месте постараться найти точку, в которой - нащупать связь друг с другом и в этой точке остаться. Независимо от наличия или отсутствия каких-то там интересов.

Но нет. Оказалось, не «можно». Чтобы мы смогли найти эту точку, нам, наверное, нужно было ее показать. Или мы, возможно, должны были быть другими. Не такими, как мы есть.

Я в детстве не понимал, что он мне мешает. А может, он и не мешал мне. У меня ведь и до него внимания не было. И тем не менее, все равно почему-то хотелось ему навешать. Причем, хотелось регулярно. И помню, что папа пару раз ко мне прикладывался именно потому, что я обижал младшего. Ну вот, а говорю, внимания не было. Было, и еще какое. Важное. Телесное.

Я знаю, что у меня есть брат.

Я сожалею, что у нас в жизни все именно так.

Я знаю, что, если ему нужна будет помощь, я помогу.

Но близость и ценность отношений не решается кровным родством.

Чем-то другим решается.

После долгих лет самобичеваний разрешаю себе не делать того, чего мне делать не хочется.

У меня была бабушка. Точнее, у меня их было две, но была одна.

Это была мама моей мамы, это именно она строила дом, в котором мы жили с родителями. А когда я родился, она переехала жить в другой домик, очень маленький, буквально в двух шагах от нашего, на том же участке. Там было всего две небольших комнатки, но это был полноценный отдельный дом. Топили его углем, как и наш, большой, но никто особо не парился – так было у всех.

Бабушка у меня была мощная, единственный по-настоящему интеллигентный человек в нашей семье. Луч света в угольной шахте. До пенсии она работала в исполкоме, дружила предприятия и организации по вопросам расходования бюджетных средств. Страшный человек. А в свободное от работы время – бегала по городу и ловила своего второго мужа, агента Госстраха, который любил бухнуть со святым отцом из Краснодонской городской церкви, и периодически засыпал в канаве. Я его, к сожалению, не застал, прекрасный мужчина отошел в мир иной за три года до моего рождения.

Бабушку звали Мария. И она меня очень любила, судя по рассказам мамы.

Это очень печально, но я не помню ее вообще, только фотку нашу совместную видел. И мне так жаль, потому что это, по ощущениям, был единственный человек в моей жизни, который давал мне любовь именно в том виде, в котором она была мне нужна. И именно тогда, когда она была нужна мне больше всего.

Мы ходили с ней гулять в парк и на аттракционы, и один такой раз какой-то мимолетной дымкой проступает в моей памяти. Но помню я не бабушку, а то, как я сидел в машину, которая везла нас дальше. Я чувствую, что бабушка тоже где-то там есть. А потом еще – карусели. И снова она где-то рядом. Как образ. Как воздух. Как кислород. Но ни одного воспоминания о нашем контакте. Хотя, по рассказам мамы, мы много времени проводили вместе. Зато это чувство присутствия бабушки ни с чем не спутаешь. Ведь это он. Эффект бабушки.

А еще у меня есть одно очень яркое воспоминание. Там тоже она только фоном, но я знаю - она есть, и она рядом.

Мы с ней вдвоем в ее маленьком домике. Она лежит на кровати и читает.

На улице холодно и идет дождь, а в домике – хорошо, на-
топлено и очень тепло.

За стеклом в шкафу стоят рыбки по росту с открытыми к
потолку ртами. Синие. В некоторых ртах – свернутые в тру-
бочку бумажки.

Фотографии.

Желтый свет лампы. Теплый. За окном – еще день, но вот-
вот начнет темнеть.

Мне никуда не нужно идти.

У меня всего достаточно.

Мне ничего не нужно искать.

Меня уже любят.

На подоконнике в ящике растет лук. Кто его вообще ест?
Рядом с луком – цветок алоэ. Внутри его веток – какая-то
прикольная жижа, которую очень полезно есть бабушкам.

У стены рядом с окном стоит огромный старый советский
радиоприемник размером с телевизор, он накрыт каким-то
куском ткани с вышитым на ней оленем. Из приемника до-
носится «И снится нам не рокот космодрома...» вперемеш-

ку с сигналами точного времени. Песня появилась в 1983, значит, мне пять.

Я сижу на стуле у двери, передо мной – старая большая швейная машинка Zinger, я пытаюсь дотянуться до педали внизу, но это удастся только ценой отрыва попы от стула, из-за чего весь швейный процесс существенно стопорится. Но шило все в той же попе так или иначе сидеть спокойно мешает.

Мне хорошо.

И всё вокруг хорошо, я это знаю и чувствую.

Мультиков, конечно, не хватает, да и телика тут у бабушки нет, но все равно хорошо. У меня есть все, что мне нужно.

Это он.

Эффект бабушки.

Эффект бабушки закончился через год.

Помню, как в декабре мама стала подолгу пропадать в больнице, а потом в какой-то день, вечером, она вернулась и зашла в дом. Глаза ее были полны слез. Мама, не разуваясь, села в одежде за стол, и разрыдалась.

Папа сидит рядом и что-то ей говорит. Не похоже, что мама его слышит.

Я стою, опершись спиной о стену, грызу губу и не понимаю, что все это для меня значит. Понимаю только то, что алоэ – это все-таки бесполезная жижа. Хоть и прикольная.

В доме зачем-то повесили зеркала простынями.

В зале стоит гроб. Куча людей в доме. Плач, все обутые, каблуки стучат по деревянному полу. Кто вообще придумал мертвого человека оставлять в доме на ночь?

Мое первое касание смерти.

Я не плачу и не страдаю. Наверное, я заморожен. И, скорее всего, именно здесь я нашел этот свой способ замораживать-ся в моменты горя, который я теперь юзаю всю мою жизнь. Иначе ведь не вынесу. Не выдержу этого со своей глубокой чувствительностью. А так вроде норм. Терпимо. Ничего особенного.

Вот только какая-то пустота появилась. Но бабушка ведь уже пару месяцев, как была в больнице, и я вроде бы как привык. А может, она и до сих пор в больнице? И просто будет там теперь всегда?

Она же не бросила меня?

Она просто умерла?

Когда пытаюсь уснуть, то вдруг приходит в голову мысль, что и я, значит, когда-то должен буду умереть тоже? Как бабушка? Меня пронизывает ледяным холодом. От этой мысли мне становится так страшно, что я тут же накрываюсь одеялом с головой. Пытаюсь обмануть себя, обещаю, что обязательно подумаю об этом позже, но только не сейчас. Нет, не хочу сейчас, бебебе бебебе, затыкаю уши пальцами.

Умереть для меня значит исчезнуть. Это не помещается у меня в голове. Как это вообще возможно... Просто исчезнуть.

Вроде чуть отпустило. Но если вдруг хоть на секунду возвращаюсь к этой мысли, то чувствую там какую-то бездонную дыру, черную, огромную и очень пугающую, которая засасывает меня, и она работает гораздо лучше нашего древнего пылесоса. Если на нее смотреть, то спасения нет. Не надо смотреть. Спрятаться. Отвести взгляд. Сделать вид, что ее нет. Снова с головой под одеяло. Леденящий душу кошмар иваныч.

С трудом засыпаю.

Все это повторяется какое-то время. Учусь себя обманывать. Учусь убегать. Не смотрю. Бебебе.

Переношу все сам, со мной никто не разговаривает о смерти бабушки, никто не спрашивает меня, как я.

Сам я тоже не говорю об этом. У нас так не принято. Да и о чем говорить? Все ж норм. Терпимо.

Постепенно приходит весна.
Лучше бы пришла бабушка.

Семья у нас была функциональной. Мама выполняла функцию мамы. Папа – функцию папы. Я выполнял функцию первого сына, Виталик – функцию второго.

Прекрасная семья. Какие мама с папой красивые. Какие дети прекрасные.

Все было здорово.

Кроме одного.

Ни у кого ни с кем не было отношений.

Было прекрасное функциональное взаимодействие.

Папа работал, зарабатывал деньги, занимался хозяйством. Мама работала, зарабатывала деньги, занималась хозяйством.

Первый сын учился в школе и играл в футбол.

Второй сын учился в школе и в футбол не играл.

На новый год все ставили елку.

Летом все ехали на ставок и иногда на море.

«Так все ж хорошо.
Ведь так и должно быть!»

Может, у вас и должно.
Но мне этого мало.

«Я хочу видеть пример здоровых отношений.
Я хочу видеть, что папе с мамой хорошо. Как и маме с папой.

Что они разговаривают, стремясь прийти к согласию.
Что они любят друг друга.
Что они друг друга поддерживают.
Что они взрослые.

Я хочу, чтобы меня замечали.
Чтобы мною интересовались. Чтобы видели.
Спрашивали, как я.
Радовались вместе со мной, разделяли и хорошее, и не очень.
Обнимали, говорили, что любят.

Чтобы вместо контроля, насмешек, критики и отстраненности были тепло, искренность, бережность и поддержка.

Чтобы со мной говорили о серьезном. Объясняли, рассказывали, спрашивали мое мнение.

Спрашивали о моих желаниях.
Помогали в них разобраться.
Чтобы учили. Как жить. Как мыслить.
Как идти маленькими шажками.

Чтобы подставляли плечо, когда падал.
Чтобы научили себя чувствовать.

Чтобы я не боялся прийти и рассказать о своем сложном, о своих чувствах, проблемах. Не боялся быть уязвимым рядом с вами.

Чтобы я видел вашу эмоциональную отзывчивость и сам этому учился.

Чтобы чувствовал, что я важен.

И чтобы всегда была ниточка между нами.
И ценность в нашем контакте».

Представляю, как охренели бы мои папа с мамой, если бы я заявил им это году так в 1985.

С трибуны какого-нибудь суда присяжных.
Города Лос-Анджелес.
По делу «Стас В. против Семьи В.»

И зарисовка судебного процесса карандашом.

Перри Мейсон кивает в такт каждому моему слову.

Ниро Вульф не пришел, как всегда, но прислал Арчи Гудвина с доказательствами.

Миссис Мурпл в роли мисс Бурпл.

Я бы очень хотел всего этого. Для себя того.

Маленького, потерянного и одинокого.

Но я могу только погрустить о том, что всего этого не случилось. Грустил. Плакал.

Зато случилось другое.

Моей семьей стали книги, я в них находил ответы. И эти ответы занимали свободные полки в моем подсознании. Это было безопаснее пустоты.

Моей семьей стал футбол. Там я проживал одну за другой свои маленькие жизни. Каждый день. Наполную. Каждый день качался. Туда-сюда. На качелях. Между троном и дном.

А еще я учился. Как одурелый. На одни пятерки.

Только так я мог почувствовать свою ценность хоть ненадолго. Только через отражение своих успехов в глазах тех, кто в то время был для меня всем. И да, это случалось. Раз в

3 месяца, в день выдачи табеля, и еще разок по итогам года. Ведь я был хорошим учеником.

Так и случился зависимый.
В автономной, на первый взгляд, оболочке.

Флеш-форвард.

2013.

Мне 35. Киев. Украинская федерация йоги. После часовой хатхи часами учимся и разбираем истории десятков, сотен ребят.

Узнаю постепенно, что есть семьи, в которых детей обнимали. В которых с ними разговаривали. В которых мама говорила, что любит. Плачу, как дурной. Слезы размером с грушу. На голову гробовой плитой падает осознание того, сколько всего я потерял. Упустил. Недополучил. Плачу. Мимо меня прошло самое важное. И ведь я даже не знал, что вообще так бывает – когда тепло, много, близко, открыто. Не знал, что абсолютно нормально - иметь это все, когда ты маленький.

Зато теперь знаю:

«Никогда в моей жизни это уже не случится».

Я как будто весь стекаю на землю.

Как медуза.

Нет сил стоять ровно.

В пять лет мама сказала, что мы куда-то пойдём. И мы пошли.

Идти пришлось неожиданно долго.

Сначала мы дошли до школы (примерно 15 минут, если у тебя маленькие ноги). Средняя школа номер 24 имени Ивана Туркенича была открыта в 1961 году на месте высушенного болота. В первом наборе первоклашек училась и моя мама. А через 25 лет она что есть силы тащила через школьный двор своего непутевого сына, который ныл от того, что у него кололо в боку от быстрой ходьбы. Но мама опаздывала на работу, и ей было не до моего бока.

А я тем временем не мог понять, как это мы куда-то идем с мамой, и одновременно мама опаздывает на работу. Это значит, мы идем на её работу?

На работу ходить с мамой мне нравилось. Мамина работа — это был просторный кабинет с коричневыми столами, большими окнами, мамиными подругами, которые очень любили такого скромного и хорошего мальчика, и кучей бумажек на столах. Когда я приходил, мне торжественно доста-

вали из сейфа калькулятор, размерами напоминавший маленького слона, включали слона в розетку, на тоненьком дисплее загорался мерцающий ярко-зеленый ноль, и можно было начинать. Клацал я долго, пока не задалбывался сам и не задалбывал всех вокруг, часов так четыре-пять подряд. После чего начинал поднывать стандартным классическим религиозным текстом, начинавшимся со слова «мааам...»

В принципе, не самый плохой день намечался.
Калькулятор вызывал во мне уважение.

Тем временем мы доковыляли до остановки. Дальше нужно было ехать на автобусе. А после автобуса снова нужно было идти пешком. Хм. Странно.

Мы зашли на первый этаж невысокого здания, с необычными круглыми окнами по всему фасаду. Это была не мамина работа. Перед зданием были какие-то разноцветные площадки, росли огромные тополя и ездили машины толпами.

Нас встретила какая-то тетя прямо на лестнице, на втором этаже у двери. И даже назвала меня по имени сразу. Тут я впервые заподозрил подвох. Какая-то тетя слишком добренькая, и мама почему-то не раздевается.

Тетя что-то заговорила на сладком, взяла меня за руку,

предложила что-то показать и потащила по коридору.

Думаю, так и разводят лохов.

Но я не лох. Я жду маму.

Но мама не идет.

А тетя тянет сильнее и продолжает на своем сладеньком.

Дальше – как в тумане.

«...мама скоро придет за тобой... смотри сколько деток у нас... а тут игрушки, хочешь поиграть...? у нас обед сейчас будет... что ты любишь кушать... ты такой взрослый мальчик... как не стыдно плакать... смотри, сейчас девочки все увидят... а ты видел, какие у нас девочки?»

Какие еще девочки?!

У вас чё тут, бордель?!

И какие нафиг игрушки?! Меня бросают!!

Я не лох. Особенно когда речь идет о жизни и смерти.

Бегу к выходу, рыдая и воя, как сирена на крыше бело-сине-го Ford Taurus, New-York Police Department, объем двигателя 5.0.

Впиваюсь в маму так, как будто в край скалы, вишу над пропастью. Ноги болтаются.

Слезы льются сами, помогать им не надо.

Рыдаю.

Какой-то словесный фон. Говорят логичные вещи. Как будто вся жизнь построена на том, что я просто должен уловить логические связи. И если я их пойму, то моя жизнь вдруг сразу наладится.

Но разве... этого достаточно?

Ведь мне же больно, вы что, не видите?

Тетя, а ты точно педагог?

Мне страшно, больно, одиноко.

Прежде чем перерезать пуповину, человека нужно научить дышать.

Меня отдирают от мамы насильно, и мама убегает.

Я уже проходил это, но сейчас мне еще страшнее.

Второй прыжок с парашютом всегда страшнее первого.

Стук каблуков.

Это молоточки забивают мне гвозди рядами в спину. Судя

по ощущениям, крест-накрест.

Бреду по коридору, захлебываясь слезами. За руку.
«Мама скоро придет за тобой...»

Ага... Предатели грёбанные.
Горите в аду.

Не говорю я так. И не думаю.

Я хуже всех. Я даже маме не нужен.

Нахер мне ваш обед не сдался.
Иду и послушно ем.

В детском саду был Юра.

Однажды, среагировав на какую-то ситуацию, я не сдержался и вдруг выплеснул в мир начало нехорошего слова.

«Ссссу...»

Быстро спохватился, тут же съев с корнями все окончание. Проглотил, не разжевывая. И даже плотно закрыл рот двумя ладошками сразу, чтобы не просочилось больше ни звука. Однако Юра уже успел оценить ситуацию, и с возгласом «Агааа!!!» он пообещал мне, что расскажет обо всем воспитательнице, если я не принесу ему из дома что-то особенное.

Допустить утечку информации было нельзя.

Ведь я не плохой, хороший.

Я подумал секунду и сказал «Хорошо».

Сейчас я понимаю политику государств не договариваться с шантажистами, а мочить их на месте. Понимаю и поддерживаю двумя руками.

Но тогда я был слабенький. Перепуганный. Слабенький и перепуганный. Ничего больше. И у меня не было не то, что оружия, шлема и вертолета для проведения спасательной операции, но я даже не знал еще, как именно у меня кулаки сжимаются.

Три дня я кормил Юру завтраками.

Нести Юре что-то особенное не хотелось, я чувствовал, что он мудило, хотя и ситуативно обладающий социально-ободряемой правотой.

Но и другого решения у меня не было.

Устав ждать, Юра все рассказал.

И я ничего ему не сделал.

Я вытерпел наказание.

Это было что-то унижительное.

Но так и должно быть.

Хорошие мальчики ведь не ругаются.

А Юра поступил правильно.

Скорее всего...

Только почему тогда так на душе дерьмово?

А еще в детском саду была Инна.

Мне шесть.

Каждый день с часу до трех у нас тихий час.
Любимое время года.

Моя кроватка наверху и рядом с окном.

За окном шумят тополя. Этот потрясающий шелест листьев я запомнил на всю свою жизнь. Нежное, ласковое убаюкивание шилопопых детей происходило максимально естественным и природным путем, и это была эффективная помощь воспитателям.

Лежа под тоненьким одеялом, я размышлял.

Размышления мои меня пугали.

Самое страшное из них я до сих пор помню.

«А вот когда я вырасту..., то о чем я с людьми разговаривать буду? Как я буду находить темы для разговоров? Блин...

А если я не найду ни одной темы...?»

Порядком напугавшись, я, как правило, засыпал.

Но засыпали не все.

И особенно не спала Инна.

По большой спальне летал шепот. Шепот разносил во все углы важную информацию. Информация была конфиденциальной, но тут все были свои.

Долетала она и до меня.

Получив информацию и переварив ее, самые отчаянные выстраивались в очередь у кровати Инны, постоянно озираясь, под страхом быть застуканными и наказанными. Периодически заходила воспитательница, и тараканы мгновенно прыскали в разные стороны от яркого света. Но кого-то самого рыжего обязательно прищлепывали тапком. Это была игра в кальмара. Soviet version.

Инна была очень дружелюбной девочкой и по очереди под одеялом готова была что-то показывать мальчикам. Восхищенные возгласы то и дело разносились по спальне, кровать Инны поскрипывала, тополя шелестели листвой, дет-

ский шепот неразборчиво тонул в заманчивом скрипе, одеяло взмывало вверх и снова укладывалось.

Все происходило примерно в двух кроватях от меня на верхнем ярусе в глубине комнаты. При желании я мог хотя бы смотреть в ту сторону, потому что таинственный процесс меня сильно интересовал (не говоря уже о том, чтобы стать в очередь), но мне почему-то было стыдно. Как я это тогда называл - «неудобно».

Неудобно интересоваться.

Неудобно признаться в том, что мне интересно.

И уж тем более неудобно бороться за свое желание активно поинтересоваться.

Да и не знаю я пока, что за свои желания надо бороться.

Конечно, я догадывался, чего я лишаюсь. Конечно, я знал, что без этого моя жизнь бессмысленна, скучна и однообразна.

Конечно, я знал, что я лашпет.

Но зато я хороший мальчик.

Черт бы меня побрал.

Половина моей улицы была засажена абрикосами.
Весной это была самая нарядная улица.

А запах абрикосовых цветков до сих пор для меня один из самых вкусных.

Дело двигалось к лету.

Часть абрикосов мы съедали еще зелеными, но их было очень много. Аномально много.

Чтобы осилить все зеленые абрикосы, нам с друзьями нужно было не вылезать из диареи и различных жестких расстройств кишечника. Но мы интуитивно не рассматривали эту опцию, и большую часть абрикосов все-таки оставляли дозревать.

А вот когда они дозревали, наступало наше время.

К этому моменту лето уже было вовсю, мы были семи-восьмилетними беззаботными пацанами с вечно разбитыми конечностями.

Самые вкусные абрикосы всегда были наверху и, чтобы их достать, нужно было лезть на дерево.

И это был стыд.

Я не умел лазить по деревьям.

Нас было всего трое, и не умел лазить только я.

Казалось бы, я — это целых 33,3%, но эта техника со стыдом не работает.

Пару раз попробовав забраться, я начинал чувствовать боль, дезориентацию и полное непонимание самого процесса: как это вообще — лазить по деревьям. И я отказывался от дальнейших попыток. Этот паттерн сохранился за мной надолго и сильно помешал мне во взрослой жизни.

Я бы очень хотел вернуться и поговорить с собой об этом.

Мне было бы что рассказать себе маленькому, стоящему возле дерева с ободранными ладошками и сгорающему от стыда. Ведь я многое не прожил «thanks to it».

Хотя, по правде говоря, и прожил не меньше.

Сейчас, конечно, я знаю точную причину, почему я не мог залезть на дерево. Просто мои предки произошли не от обезьян. Они произошли от жирафов.

Поэтому я был выше всех и доставал до веток снизу.

Это и позволяло мне выживать в моменте.

Но стыд, конечно, не убирало, лишь компенсировало немного. Как будто я получал кэшбек от Привата за потраченные деньги на покупку лекарств в АНЦ.

Разобравшись с абрикосами, мы обычно шли на огромную шелковицу. И тут травма повторялась. Теория происхождения людей от жирафов пока что не была подтверждена.

Парни сидели на ветках, а я скромненько за ними тянулся.

Съедали мы каждый, кто сколько мог и хотел, и никто из нас точно не бывал обделенным, но делали мы это в разных эмоциональных состояниях. Не знаю, что там себе думали мои друзья, меня никто из них не задрачивал, но я всегда был из тех, кто легко задрачивал себя сам. И я всегда был озабочен каждой мельчайшей хреню, которую я по своей природе просто не способен был не замечать. А замечая ее, я делал из маленькой серенькой пухнастой мышки огромного серого тяжеленного слонорака с хоботом, клешнями и бивнями, и тут же охреневал от его размеров. В эти моменты жизнь для меня прекращалась. Все внутри обрывалось. Я не был достоин находиться среди всех этих достойных членов общества.

Зато, когда мы приходили на футбольное поле, я отыгрывался за все. Я был быстрый, и я был злой, хотя я никогда

бы этого не признал. И у меня была хорошая техника. На школьном футбольном поле я проводил почти все свое время в теплое время года. В школу я приносил мяч в авоське, и все перемены мы рубились с одноклассниками, предварительно поделенными на две постоянные команды (чтобы не тратить на это драгоценные десять минут перемены), и каждую перемену у нас был отдельный матч, который записывался в тетрадку, и по итогам года определялась команда-чемпион. В этой же тетрадке мной были переписаны все игроки нашего 7-Б класса с фамилиями, именами, ростом и весом. Мало ли, придет заказ от селекционеров Динамо «Киев» на профайл одного из наших. Так у меня уже все готово.

Пожалуй, самая душещипательная история расплаты за шелковицу с абрикосами произошла в четырнадцать лет.

Случилось так, что с моим другом детства Денисом мы жили друг напротив друга, но учились в разных школах, я - в двадцать четвертой, а он - в восьмой. Каждую зиму на каникулах сразу после Нового года, буквально со второго января, у нас во Дворце спорта начинался чемпионат, в котором участвовали все школы города и района, примерно штук пятнадцать. Это был праздник жизни, который любой наш подросток, повернутый на футболе, ждал больше, чем чемпионат мира в какой-то там Мексике. Потому что, возможно, и Мексики никакой не существует, а наш чемп – он-то

уж точно есть.

У нас были сильные команды. Команда Дениса еще и состояла из парней, которые играли за юношеские городские сборные. Мы с ним тогда тоже уже играли за город, играли вместе, но тут, понятное дело, должны были выступать каждый за свою школу.

В тот год команда моей школы была набрана из мощных ребят. В таком составе мы тогда собрались вместе в первый раз. Было много надежд. В первой же игре у нас не пришел вратарь. Благодаря своей сильной нарциссической природе я вдруг почувствовал, что вратарем в этот сложный критический момент обязательно должен стать я, и первым же ударом по воротам мне сломали большой палец на правой руке (ну какой я нахрен вратарь). Я расстроился, быстренько сгоял в травмпункт, вернулся и узнал, что каким-то чудесным образом мы все-таки эту игру выиграли. Фух.

На следующий день я, как положено, пришел на вторую игру с гипсом на полруки и продолжил как ни в чем не бывало. Честно говоря, мне даже стало полегче играть, потому что в поле я так размахивал гипсом, что подбегать ко мне близко побаивались.

Таков был бэкграунд.

Тем временем, чемпионат продолжался и дело неумолимо шло к игре школы 24 против школы 8.

Предполагалось, что нас порвут.

И все основания к этому были.

Мы побаивались, но вида не подавали.

Каждое утро мы шли на игру с Денисом вместе, и домой, понятно, тоже топали вместе.

Это утро не было исключением.

С утра пораньше мы вышли.

Шли быстро, особо не разговаривая. Переживали.

Денис был вратарем школы номер восемь. Я – был человеком, который за предыдущие три-четыре матча наколотил уже немало мячей тем, с кем мы играли.

Я был в предвкушении.

Где-то внутри меня зудели страх и абсолютно не присущая мне уверенность.

Игра началась и через положенные 40 минут закончилась.

Мы выиграли 8:4. Из восьми мячей четыре Денису забил я, последний – сильным ударом с центра поля в падении.

Поймал кураж крайней степени.

Занавес.

Домой мы шли вместе, но друг с другом не разговаривали.

Я не знал, что ему сказать.

Не было такого опыта.

И он не знал, что сказать мне.

Где-то в теле я чувствовал его боль. Но где – я не понимал.

И то, что это его боль – тоже.

Мой праздник был неуместен.

И я не смог его прожить.

Вот жеш засада.

В тот год наша школа первый раз за много лет выиграла чемпионат города. И на следующий год мы снова были первыми.

Я радовался. Был доволен, как слон. Счастлив.

Но, конечно, недолго.

Пока не нагребало привычным чувством стыда в обычных ситуациях, когда я снова был «каким-то не таким» и делал «как-то не так». Таких ситуаций каждый день со мной приключались десятки. А чемпионат был только раз в году.

Его не хватало.

Как и меня.

И дело не только в том, что жить в стыде мне было привычно.

Дело было еще и в том, что продолжительное чувство счастья мне было невыносимо.

Я не мог и не могу чувствовать его долго.

Меня начинает трусить.

И хочется это напряжение сбросить.

И я сам, своими руками возвращаю себя в привычное.

Я прерываю контакт.

И сам себя держу в дефиците.

Тогда я не понимал, что в чем-то я мог быть сильным, а в чем-то - слабым. И это нормально. Как жаль, что поговорить об этом тогда мне было не с кем.

Ведь одно дело –

Жить, чувствуя, что вот, к примеру, лазить по деревьям я не умею, и это не потому, что я лузер, просто изначально все не умели. И у меня есть выбор – или вложить свои силы и научиться, или просто забить на это, если мне не хочется, не нравится, не может, не интересно. И любой выбранный вариант нормален, я не обязан уметь делать все, и быть во всем лучшим. При этом, то, что мне нравится – брать и делать, и делать на полную, в кайф, потому что как раз таки интересно, нравится, хочется. И расти в этом деле, становиться в

нем особенным. С ощущением своей нормальности, и того, что со мной все в порядке.

И совсем другое дело –

Жить, чувствуя, что я постоянно все делаю не так, не как положено, не так, как делают «нормальные» люди, что мои чувства не те, что они не важны. Что ценится только сила, только победа, а слезы – это слабость. Что чувствовать нельзя в принципе, либо можно, но только радость или что-то «хорошее». Что замечать меня не за что, а когда есть – то это лишь крошечные эпизоды, за которыми снова наступает ядерная зима. И самое для меня страшное – жить, чувствуя свое тотальное одиночество, что я один со всеми своими вопросами, что близкого контакта нет и не будет, что близость – это вымысел футурологов, а эмоциональной отзывчивости в принципе не существует. Что существует только отдельность, отморозенность и разговоры о делах, и, видимо, мир так и устроен.

И тогда, если я так живу, с ощущением, что «со мной что-то не так», то и от своих сильных сторон я не могу прокайфовать тоже. Потому что они используются мною исключительно для того, чтобы хоть на мгновение заткнуть дырку, из которой так сильно сквозит, что затычка эта держится в ней лишь считанные секунды. После чего вылетает со свистом и

сбивает меня с ног по новой.

А заполнить эту дыру никак не выходит.

Нет сил на это у маленького человека.

Нет знаний.

Нет глаз напротив.

Открытых, немного грустных и любящих.

И обнимашек нет.

Теплых и наполняющих светом.

Мне девять. Третий класс.

В семь утра, перед школой, три раза в неделю у нас бассейн.

Бассейн находится во Дворце спорта в центре города, до которого шагом маленького человека тулить полчаса. Это значит, что встать надо в шесть.

Но чтобы встать в шесть, маленькому человеку нужно лечь в девять. А лучше в восемь.

Но маленький человек не ложится в девять. А тем более – в восемь. Он читает одну из семи книжек, взятых в библиотеке на неделю, под свет ночной лампы и крики мамы «Стасик, ложись!», попутно подслушивая фильм, который смотрит папа.

Фильм длинный, книга еще длиннее.

Лампу гасит мама, когда в шесть утра приходит его будить. Оперирует категориями «электричество» и «оплата

счетов».

Спать он лег, как обычно, далеко за полночь.

Будить мама заходит шесть раз, с четвертого по шестой разы все сильнее ругается.

Маленькому человеку плохо, неудобно, он снова все делает не так.

В 6:27 он наконец встает, зная, что за три минуты он точно оденется и за полчаса он точно дойдет.

Мотивация идти в бассейн маленькому человеку не нужна. Маленький человек октябренек, круглый отличник и почти что квадратный пионер. К тому же, он хороший. Не то, что плохой двоечник Леха, надувающий на задней парте из жвачки шар размером с голову, и потом пол-урока сдирающий ее остатки с лица под хохот класса.

Чтобы проснуться, маленький человек окунает ладошки в горячую воду, заткнув дырку в раковине. Ему так хорошо, что он подвисает с закрытыми глазами на пять минут, а потом эти свои распаренные ладошки кладет на закрытые глаза. Если бы он тогда обладал большими знаниями о сексе, он мог бы сравнить свои переживания более точно.

Мама за те же пять минут окончательно превращается в дракона.

Поест маленький человек не успевает. Как и почистить зубы.

Он выходит в ночь.

В ночь, потому что за дверью декабрь. На улице темно. Кое-где горят фонари.

Минус пятнадцать.

Гребанный ад.

По колено снега и не очень-то и протоптанные дорожки. (Хотя это еще норм. Однажды, открыв калитку, я увидел снег на уровне моей головы).

Ладно... Надо идти.

Маленький человек знает, что он - недоразумение.

Ведь он стопудово опоздает.

И это еще одно тому подтверждение.

Немного сглаживает это чувство морозный воздух, который так кайфово касается его теплых щек, окрашивая их в розовый. Мммм. Вкусно.

Снежинка садится на нос и сразу тает. Но место вынужденной посадки снежинки еще какое-то время горит на радаре.

Надо идти.

Хочется сдохнуть, но надо идти.

Хочется упасть в сугроб. Он такой мягкий.

Хочется заснуть летаргическим сном, как Гоголь. Моголь. Скорее бы Пасха.

Но надо идти.

Маленькие шаги маленького человека. Глаза под ноги, иначе так плотно летят снежинки, что не проглядеть. Хрустит снежок. Хыр-хыр, хыр, хыр, хыр... Иду в такт. Это похоже на медитацию. Пару раз по дороге падаю.

Варежки на руках. Тепло.

Школа. Перехожу дорогу.

Метель в свете фар. Как красиво. Мне нравится.

Магазин «Охота», на пятом этаже живет директриса. «Спишь небось, сучка, или в бассейн собираешься?», - подумал бы я, если бы мог тогда хотя бы допустить, что так можно думать о директрисах.

Дальше мне по рельсам. До самого Дворца Спорта.

Слева огромный девятиэтажный дом, в котором то и дело загораются окошки. Неужели в каждом из них живет человек? Замечаю в одном из окошек сразу двоих. Картина мира слегка меняется.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.